

ТАМ, НА ЛЕОНТЬЕВСКОМ

О Константине Сергеевиче Станиславском написаны сотни томов. Но я решился рассказать еще одну историю про Константина Сергеевича. Решился только потому, что в ней, на мой взгляд, особенно пронзительно звучит его такая неотражимая «детскость» гения, его вдохновенная убежденность в том, что перед Искусством все равны.

Борис Левинсон — прекрасный артист, с которым мне довелось служить в свое время в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского. Театр этот появился на свет после того, как Оперно-драматическая студия им. К. С. Станиславского прекратила свое существование. Студия эта была последним детищем Константина Сергеевича, а Борис Левинсон — одним из последних, кого Станиславский экзаменовал.

К. С. спустился в зал с колоннами в доме на Леонтьевском.

— Что вы намерены показать? — спросил К. С. после того, как познакомился с Левинсоном и представил (!) ему Марию Петровну Лилину, с которой он вместе вошел в зал. Левинсону тогда было лет семнадцать. Затем К. С. осведомился, как Левинсон себя чувствует, расположен ли он показать свою программу, и если расположен, то не соблаговолит ли начать показ.

— Вы приготовили, если не ошибаюсь, из «Женитьбы»?

— Да, — прохрипел Левинсон еле слышно.

— Что же именно?..

Левинсон молчал и тербил прядь волос.

— Какой отрывок вы намерены сыграть нам с Марией Петровной?

— Это не отрывок, — сказал Левинсон каким-то двойным от напряжения голосом.

— Простите, — извинился Станиславский. — А что же?

— Все.

— Что, все?

— Ну все, с начала и до конца.

— Так-с, — Станиславский забарабанил пальцами по плюшевой скатерти. — Как вас понять, сударь мой, какую роль?

— Подколесина.

— Отлично. А кто вам поможет за остальных? — Станиславский огляделся и обеспокоенно заерзал. — Маша, надо послать за Гоголем. Будем ему подчитывать.

— Не надо! — выкрикнул Левинсон. — Я знаю за всех!

— Что за всех?

— Все за всех!

— И вы намерены всех изображать?

Левинсон мотнул головой, голос ему снова отказал. Станиславский не скрывал своего раздражения. И Левинсон решил поправить дело.

— Я могу прочитать стих «Винтик-шпунтик».

— Автор? — Голос Станиславского наливался неприязнью.

— Агнивцев.

— Повторите еще раз название? Четко и внятно, чтобы были слышны все согласные. Гласные это, изволите ли видеть, река... А-а-а... О-о-о... У-у-у... — пропел К. С. — А согласные — берега ШэТэБэ... — произнес он кратко, взрывоподобно. — Повторите.

— Что? — Левинсон понял, что конец близок и что все унизительные хлопоты матери, медицинской сестры и опытной массажистки, услугами которой пользовался кое-кто из актеров МХАТа — один из них и помог с организацией этой встречи, — пошли прахом.

— Агнивцев...

— Агнивцев?

— Агнивцев, — повторил Левинсон и зажмурился.

— Значит, Агнивцев.

— Агнивцев. — А что было делать Левинсону, когда фамилия поэта была действительно Агнивцев?

— Он из кавказских народов? — предположил Станиславский.

Левинсон молчал, не зная, что сказать.

— А может быть, это псевдоним? — размышлял вслух К. С.

— Да бог с ним, с этим Агнивцевым, — вступилась Мария Петровна.

— Агнивцевым, — не ведая, что творит, поправил ее Левинсон.

— Да, да. Как называется его поэма?

— «Винтик-шпунтик».

— Еще раз. — Станиславский весь преобразился в некое устройство для демонстрации гласных-рек и согласных-берегов. — Какой винт?

— «Вин-тик-шпун-тик»...

— Что означает последнее слово?

— Шпунтик? — Левинсон собрался, как на пытку. — Это прозвище. Шутка.

— Шутка? — Станиславский был изумлен. — Но она же, голубчик мой, не смешна!.. Гм... Гм... Каков ее смысл?

— Ну, это как, например, — вступилась Мария Петровна, — как цветочки-василечки, как девицы-красавицы.

— Да, — с надеждой глядя на Лилину, громко сказал Левинсон. — Как елки-моталки...

— А вот это последнее совсем не дурно, — оживился К. С. — Цветочки, которые еще и василечки, красавицы, которые к тому же и девицы... Гм... Гм... Елки, да еще во втором значении, и моталки, то есть некие моталки, сделанные, представьте, из обычных елок... Я понятно говорю?

Левинсон тряхнул головой.

— Итак, — резюмировал Станиславский, возвращаясь к основной теме. — Если Агнивцев с «А», то надо говорить и «асетин», но так как мы говорим «осетин», то, несомненно, следует произносить Огнивцев... Продекламируйте, пожалуйста, эти ваши моталки из елок... Или Гоголя?..

...Станиславский, поправив пенсне, пристально, со вниманием разглядывал Левинсона в упор. Бедняга кожей чувствовал, как неторопливо передвигаются пронизательные магнитные зрачки старца под козырьком нависших седых бровей.

— Покорнейше прошу простить... — сказал вдруг К. С. и, поднявшись во весь свой гигантский рост, осанка его была отменной, легким шагом вышел из зала, но тут же вернулся, неся в руке томик.

— На всякий случай, — пояснил он. — Вдруг вы от волнения забудете слово, и все скомокнется. Если вы готовы, молодой человек, и сосредоточились, то и начнем... — И передал книжку Лилиной.

Атмосфера разрешилась. Станиславский с явным интересом принялся следить, как Левинсон организовывал себе игровую площадку, как он перетаскивал тяжелые стулья, определяя места действия, вслушивался в его шепот, когда он называл действующих лиц, мысленно привязывая их к той или другой мебели, ободряюще глядясь, как Борис, сосредоточиваясь все глубже и глубже, обретал все большую свободу. Когда же он закончил приготовления и поднял взор на экзаменаторов, паники в его глазах уже не было, а только лишь ум да затаенное лукавство, то есть именно то, что и теперь, когда Левинсон выходит на подмостки, делает его таким привлекательным.

А дальше началась какая-то фантазмагория. Левинсон заметался между стульями, плюхался на один и произносил реплику Подколесина, мчался к другому и говорил за Кочкарева, потом вминался в кресло и, кокетливо обмахиваясь платочком, изображал Агафью Тихоновну или там сваху... И все — с гримасами и изменениями голоса. Он заикался за Кочкарева, кривил рот и пришепелявал, говоря за сваху, и так скашивал глаза, когда изображал Агафью Тихоновну, что радужки, казалось, соприкасаются где-то под переносицей. Конечно, это был балаган, но такой наивно-одержимый, такой бесхитростный и изо всех сил правдивый, будто никакого театра до Левинсона не было вовсе и вот он сейчас изобретал его сам...

Первым раздался непосредственный, повизгивающий смех Марии Петровны Лилиной, она задышалась не в силах перевести дух, зажмурилась, чтобы хоть на миг не видеть эту всклокоченную потешную башку, с бешеной скоростью мечущуюся от стула к стулу. Зажимала уши, чтобы не слышать его клекочущий, какой-то птичий голос. Потом зауהל, как филин, Константин Сергеевич. Его морщины растянулись, брови вскинулись, глаза сверкнули из-под пенсне. Что-то ликующее было в хохоте Станиславского... Есть такая известная фотография хохочущего К. С., вот он и теперь хохотал именно так. Мария Петровна верещала тоненько-тоненько... А всклокоченный мальчик резво метался перед ними, прищипоренный великим смехом великих, и выкрикивал фразы на разные голоса.

— Конец!.. — загудел орган Станиславского. — Пощадите!.. Все!..

Левинсон разом остановился и сник, словно упала птица, подбитая влет. И перестал дышать, не понимая, потешались ли они над ним или над его исполнением.

— Это так уморительно! — воскликнула Мария Петровна. — Я не помню, когда так смеялась...

Лицо Станиславского постепенно становилось серьезным, брови сдвинулись за дужкой пенсне, но в углах рта все еще играли веселые тени:

— Передайте вашей матушке, — сказал он весьма любезно, — чтобы она не волновалась, вы приняты...

Но что же происходило там, в Леонтьевском переулке, когда двое пожилых людей прекрасного облика со всей серьезностью и удовольствием глядели на метанья одного мальчика, который старательно, на разные голоса, изображая то мужчин, то женщин, то шепча, то выкрикивая, произносил фразы, выученные им наизусть?

Там происходил Театр. Тот самый Театр, который вот уже, наверное, двадцать пять веков завораживает своим волшебством требующее зрелищ человечество.